

на земле. И, наконец, недостаточно ознакомить нового читателя с биографией и содержанием творений Данте, необходимо дать ему понять или, по крайней мере, почувствовать, что поэт был сыном своего времени, что его творения—зеркало, отражающее культурную жизнь эпохи. Ведь если Маркс так любил перечитывать Данте, то не только потому, что он был большой художник, но и потому, что творения его, как творения Гомера, Шекспира и Бальзака (других любимцев Маркса), воссоздают целую эпоху, конец средневековья, с его социально-политической борьбой, религиозными сомнениями и исканиями, научно-философскими и художественными достижениями.

В. Фриче.

НЕСТЕР КОТЛЯРЕВСКИЙ. Деятнадцатый век. Отражение его основных мыслей и настроений в условном художественном творчестве на Западе. «Наука и Школа». Петербург, 1921 г.

Главное заблуждение автора этой книги—его уверенность, что вся Западная Европа населена одинаковыми людьми, или, во всяком случае, людьми, которые тождественно мыслят, веруют, чувствуют и рассуждают. Поэтому слово «люди» самое употребительное слово в этой книге.

«Вера в прогресс попрежнему жива в людях»... (269).

«В 30-ые и 40-ые года, когда с таким пафосом люди относились к процессу жизни»... (270).

«Даже в эти годы культа суровой реальности люди гораздо больше верили»... (270).

«...люди издавна условились называть добром и нравственностью» (271) и т. д.

Другое заблуждение автора этой книги—его уверенность в том, что все эти одинаково мыслящие и чувствующие «люди», населяющие Западную Европу, мыслят и чувствуют именно так, как мыслит и чувствует он, автор повествования о XIX веке. Поэтому время от времени он заменяет слово «люди» местоимением «мы». На тех же двух страницах, откуда взяты вышеприведенные заключения о «людях», сообщается, что «мы давно уже привыкли решать нравственные и религиозные во-

просы, как совершенно независимые друг от друга»... «что большие сомнения и опасения обступают нас, когда мы начинаем думать о том нравственном уровне, на каком находится наша современная блестящая культура»..., что «мы не любим теперь таких развязок»... и т. д.

И, наконец, третий, самый главный недостаток этой книги, естественно вытекающий из двух первых,—это то замечательное явление, что любое из утверждений автора можно превратить в противоположное, и оно не станет от того ни менее убедительным, ни менее доказательным. Напр., «в конце XVIII века в образованных людях самых разных мировоззрений, в сентиментальных типах Руссо, рационалистах типа Вольтера, в материалистах и энциклопедистах, была крепка вера в нравственную силу человека... в эпоху революции эта же вера преобразила людей (опять людей. П. К.) в испуганных фанатиков социальной справедливости, устанавливаемой свободной волей человека»... (270). Оказывается, теперь эта вера в человека поколебалась, и «мы» уже теперь не верим в нравственный рост человечества так, как «люди» раньше верили.

Едва ли нужно доказывать, что противоположная мысль, т.-е. утверждение, будто именно теперь «люди» верят в нравственную силу человека, а в конце XVIII века не верили, имеет ровно столько же цены, как и мысль академика Котляревского. Стоит только вспомнить Бомарше или вольтеровского «Кандида», или шиллеровских «Разбойников», а из современных писателей Ибсена,—и всюду вместо «да» с успехом можно будет начертать «нет». Мы уже не упоминаем о «фанатиках социальной справедливости». Вероятно, автор так загляделся на Робеспьера и Дантона, что не заметил ни парижских коммунаров, ни Либкнехта, ни Розы Люксембург.

Столь же убедительны заявления автора, что «гневных обличителей текущей жизни среди нас немного», что в наши дни «художник желает остаться исключительно художником», что «ему дорога одна лишь красота, которая не должна знать никакой морали и для которой высший единственный закон—ее художественное совершенство». Оказывается

раньше в области морали все было «просто и ясно», хотя, «может-быть, и условно», а именно, «признание известного порядка мыслей, чувств и поступков «добрыми», а противоположных им—«злыми». В наши дни все это «страшно усложнилось и запуталось».

Дальше этих обывательских суждений идти некуда. Неужели Нестор Котляревский не знает, что вопросы о добре и зле никогда не были простыми и ясными, что понятие о художнике—«исключительно художнике» и о «чистой красоте», не связанной с моралью, занимало видное место в миросозерцании иенских романтиков и в «сéнасле» Шарля Нодье и вообще в европейском романтизме, что торжество тенденциозной и морализирующей литературы начинается повсюду в Европе по мере приближения ко второй половине XIX века, в Англии в лице Диккенса и Теккере; во Франции—Жорж-Занда, Бальзака, Гюго; в Германии—«молодых германцев», особенно Берне, Гуцкова; в России—сначала Белинского, а позднее—шестидесятников и народников и т. д. Правда, с широким распространением модернизма или неоромантизма опять торжествуют принципы «чистой красоты», но против них ведется ожесточенная борьба, выдвинувшая в конце века замечательных писателей (Гауптман, Ромен-Ролан, Барбюс и т. д.).

Говорить о том, что принцип «чистой красоты» появился или утвердился только в наши дни, что раньше идейное направление преобладало в литературе—значит, совершенно не знать процесса ее развития, не понимать, что на протяжении всего XIX столетия идет жестокая борьба между романтизмом и реализмом, тесно связанная с общественными противоречиями века.

Автор не разбирается в интересах и психологии разных общественных групп, поэтому его обобщения носят ребячески легкомысленный характер. Вот образчики таких построений, объединяющих в общую кучу века и даже не народы, а целые материи: «XVIII век, в его наиболее типичных культурных представителях, был веком нерелигиозным, свободомыслящим, нередко атеистическим, веком первых побед всевозможных (?) наук над традициями совсем ненаучной

мысли прошлых столетий и веком юношеской, полной энтузиазма, уверенности человека в силе своего ума, а главное—в силе свободного воздействия человека на ход жизни, какой он живет, и в определенности, какой он будет жить в грядущем» (62—63). И дальше все в таком же роде. Автор столько расплывчатого и аморфного нагромоздил здесь, что без всякого ущерба для убедительности и ясности вместо XVIII века можно поставить в выше приведенной цитате XVII, XVI или XIX век.

Неудивительно, что, при такой легкости в определениях, книга полна противоречий. Явление, рост которого автор утверждает на одной странице, оказывается идущим на понижение в другом месте книги. Так, по поводу понизившейся, якобы, веры в нравственную стойкость человека (о чем говорится на стр. 270) автор совершенно иное говорит в предисловии (стр. VIII): «XIX век поднялся на необычайную, до него неведомую высоту в своем представлении об автономной, умственной и нравственной силе человека». Итак, Вольтер, Руссо и пр. не добрались до этой «неведомой» им высоты!

Книга Нестора Котляревского—образчик отжитых методов исследования литературных явлений. И если она чем-нибудь полезна, то тем, что доводит их до абсурда. Чем очевиднее выставлена бесплодность и никчемность сумбурных разглагольствований этого типа, тем скорее история литературы освободится от пережитков прошлого.

Проф. П. С. Коган.

В. ЛЬВОВ - РОГАЧЕВСКИЙ. Очерки по истории новейшей русской литературы (1881—1919 гг.) Изд. Всерос. Центр. Союза Потребит. Обществ. Москва, 1920 г. 140 стр.

Львов-Рогачевский умеет находить интересные темы для своих работ. Года два назад он выпустил книжку «Поэзия новой России», в которой попытался дать критическое обозрение рабочей и крестьянской поэзии; данной книжкой он восполняет пробел, так как в нашей литературе не было конспективного, доступного широкому массам обзора, ха-